

Егор Эдуардович Дриянский

Записки мелкотравчатого



Егор Дриянский
Записки мелкотравчатого

«Public Domain»

Дриянский Е. Э.

Записки мелкотравчатого / Е. Э. Дриянский — «Public Domain»,

«Жил я долго в таком благодатном месте, куда с каждой весной прилетало множество дичи, в просторных полях водилась пропасть зайцев, а в болотах и заводях выплаживался выводками красный зверь. Все соседи мои, за редким исключением, были страстные охотники: глядя на них, и я завел своры две борзых и мало-помалу научился выть по-волчьи, следить заячью тропу по пороше и с первой сметки отличать в жирах след на логово, добыть лису по нарыску и прочее, и прочее. Одним словом, в короткое время я, как говорится в комедии, «дошел до степеней известных», или же, как выражались старые сутяги, стал «в роде своем не последний...»

Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	18
Часть третья	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Егор Дриянский

Записки мелкотравчатого

Часть первая

• *Отъезд.* • *Проказы лешего.* • *Удачное salto mortale.* • *Картина ночлега охотников.* • *Бацов и Петрунчик.* • *Мелкотравчатые.* • *Котловина.* • *Гоньба.* • *Волк и Чаус.* • *Клинское.* • *Обед.* • *Савелий и Красотка.* •

«С волками жить – по-волчьи выть», – говорит пословица. Все пословицы я уважаю за тот широкий смысл, который лежит в их основании, а значение последней как нельзя лучше оправдалось на мне самом.

Жил я долго в таком благодатном месте, куда с каждой весной прилетало множество дичи, в просторных полях водилась пропасть зайцев, а в болотах и заводях выплаживался выводками красный зверь. Все соседи мои, за редким исключением, были страстные охотники: глядя на них, и я завел своры две борзых и мало-помалу научился выть по-волчьи, следить заячью тропу по пороше и с первой сметки отличать в жирах след на логово, добыть лису по нарыску и прочее, и прочее. Одним словом, в короткое время я, как говорится в комедии, «дошел до степеней известных», или же, как выражались старые сутяги, стал «в роде своем не последний».

Как все это сделалось, и какими судьбами я превратился из простого смертного в образ мелкотравчатого, разъяснить того не умею. Рассуждая о том иногда сам с собой, я припоминаю те впечатления, которые сопровождали меня в начале моего поприща, и, чтобы не забыть их совсем, записываю в том виде, как представляет их еще не изменившая мне память.

Однажды, сидя в просторном зале за обеденным столом у графа Атукаева, в кругу двадцати человек общих соседей – псовых охотников, я, как страстный ружейник, заспорил горячо о преимуществах ружейника перед борзятником. Двадцать голосов самой жаркой оппозиции не в силах были поколебать моих в том убеждений. Спор, доходивший подчас до неистовых возгласов и стукотни кулаком по столу, кончился далеко за полночь, уже во время ужина; кончили тем, что я дал слово хозяину отправиться с ним на всю осень в отъезд и присутствовать там в качестве наблюдателя.

Срок для съезда в условленном месте был не за горами, а потому, дождавшись назначенного дня и уложив свой дорожный скарб в тележку, я тронулся в путь.

До места первого ночлега нашего, под открытым небом, следовало проехать верст тридцать. Времени в запасе у меня было много, а потому, не рискуя опоздать, я завернул по пути к одному из помещиков на чашку чая, и вместо того, чтоб пробыть у него, как намеревался, не больше часа, волею-неволею я должен был разыграть пульку и досидел до десяти часов вечера. Взглянув на часы, я заторопился и, не внимая никаким убеждениям, решился ехать. Мы распрощались.

Два человека, держа каждый по свечке в руке, открывали мне путь по крутой и высокой лестнице; добравшись кое-как до последней ступеньки, я неволей ахнул: отворенная настежь дверь нарисовала моему, вдруг притупевшему, зрению картину самого темного, мокрого и холодного погреба. На вершок от носа, кроме мрака, пахнувшего мне в лицо чем-то неприятливым, ничего не было видно. Одну свечу задуло тотчас. Наконец, посредством другой, выставленной напоказ ветру, в вытарашенных глазах моих мелькнуло на мгновение пол-обода переднего колеса и половина хвоста левой пристяжной. Остальное пожирал мрак.

– Игнатка, ты тут? – спросил я, двинувшись шаг вперед и махая руками по воздуху.

– Здесь! – отвечал Игнатка, и по звуку этого длинного и сухого «здесь» я тотчас смекнул, что лицо Игнатки было живая копия с темноты и погоды.

– Как же? Десять верст – не близко. Как мы доедем?

– Авось... выедем – аглядимси...

Я отыскал ощупью кузов тележки; большая капля дождя упала мне на нос; пристяжная встрепенулась и загремела бляхами; свечка погасла. Я сел.

Выехав со двора, нужно было повернуть тотчас направо и спускаться по излучистому пригорку, окаймленному с одной стороны садовым тыном, а с другой – отвесною водомоинной, которая, расширяясь постепенно, спускалась вместе с этим узким проездом к плотине, пересекавшей большой пруд. Эта дорога и днем, как то известно и памятно было всем и каждому, считалась не из лучших. Дело вначале пошло у нас очень степенно, хотя по частому трясению головы коренного битюга я нехотя уразумел, что он, видимо, терял охоту к солидному отправлению своей должности.

Наконец он заблагорассудил пуститься рысцой: схватясь обеими руками за грядки тележки, я не успел еще порядочно одуматься, как одна из пристяжных вдруг скрылась из глаз; раздалось громогласное: «Тпррру!» Пара остановилась. Игнатка, кряхтя, охая и причитывая что-то, полез с козел. По проверке оказалось, что она попала в яму, из которой мужики роют глину. Употребя около получаса на устройство оборванного валька и упряжи, мы, наконец, благополучно очутились на другом плотины.

– Не вернуться ли, Игнатка? Судя по началу, нам не скоро добраться до места!

– Авось, теперь как-нибудь... Штоп им тут, окаянные... дуй вас горой!.. Середь ездуглину роют... И барин-то у них согрешил грешный... Право, ну! Эхма!.. Доехать бы...

Все это причитывание сопровождалось приличным количеством эхов, вздохов и побрякиваний, пока Игнатка усаживался и подбирал вожжи; наконец послышалось одно из невыразимых междометий и последующее затем: «Э-з-богом!», и лошади побежали рысью.

Прыть эта, однако же, продолжалась недолго; по судорожному встряхиванию и нисколько не усладительной качке экипажа неминуемо следовало прилепиться к довольно основательной мысли, что мы прогуливаемся вовсе не по дороге; после изрядного толчка следовало неизбежное: «Тпрру!» и немедленное отправление Игнатки для отыскания более эластичного пути.

Оставшись один, я от безделья начал приспособлять свое тупое зрение к сказанному Игнаткой «аглядимси». Успех был так велик, что я увидел дугу; лошади ступевывались с грунтом. Минут двадцать прошло в частых переключках; из причитываний, какими они сопровождались я вывел заключение, что мы, «без сумления», обойдены лешим.

На горизонте мгновенно блеснула и погасла искорка огня и заронила в мою голову частицу светлого соображения.

«Если этот блеск из кабинета, – думал я, – то наш путь лежит налево; если же из передней, то следует круто повернуть назад».

– Барин, а барин! Мы не туда едем, – сказал Игнатка подойдя ко мне на голос.

– Верю, мой милый! И даже верю, что мы теперь вовсе никуда не едем, а преспокойно стоим на месте.

– Как же быть-то?

На этот раз глагол «быть» терял свою вспомогательную силу.

– Надо найти дорогу и ехать по ней, – отвечал я после короткого раздумья.

– Вон там, влево, дорога есть, да, видно, не наша.

– Коли есть, так она и наша.

Вздыхая и причитывая, Игнатка вел коренную под уздцы; саженой двести продолжалась качка, наконец колеса покатались плавно; стало заметно, что мы переменили направление: мелкий, сыпучий дождик увлаживал мой правый бок. С помощью «аглядимси» я предался наслаждению созерцать Игнатку; в непрерывном поклонении дороге, то направо, то налево,

часа два времени протекло незаметно; лошади несколько раз порывались бежать рысью, но междометия Игнатки и вожжи мешали их усердию; наконец раздалось новое: «Тпррру!» – и коренная уперлась в межевой столб. По тщательном осмотре оказалось, что мы стоим на распутье трех дорог. Не желая получить вместо одного три вопроса вдруг, я обратился первый к Игнатке.

– Как думаешь, где мы?

– Иде это мы? Атцы мои!.. Ах, дуй те горой!.. Куда ж теперь? – было ответом.

Вскоре Игнатка снова затянул: «Э-з-бо-гом!» – и лошади пустились трусцой по неизвестному всем нам пути.

Дождик начал переставать: я накрыл голову мокрым воротником шинели, решаясь ни о чем не думать, но час времени прошел по пустому. Стало скучно.

– Игнатка, спой что-нибудь! Ты-таки мастер.

– Эх, сударь, грех-то какой! И где водится, чтоб ефтакие разы кто стал песни петь. Ну, неравен случай, как с дядей Никифором... Ну, как не приведи... да вот... с нами крестная сила!.. – Игнатка поспешно начал креститься.

Впереди нас, казалось невдалеке, вдруг заблестало несколько отдельных огоньков, все они как будто были в движении, некоторые из них светились очень ярко и отбрасывали искры, другие были слабее, но перед ними двигались какие-то неясственные фигуры и тени. Полагая, что эта перестановка происходила от движения нашего экипажа, я велел остановиться, но сумятица все-таки продолжалась, всего же страннее было видеть то, как один из этих огоньков вдруг исчезал, и на месте его появлялся другой, гораздо ярче и пламеннее, и вслед за тем снова начиналось передвижение.

– Э-ва! Расплясались! Что ж, сударь, куда теперь ехать прикажете?

– Ступай прямо на освещение.

Вместо должного исполнения Игнатка обернулся и посмотрел мне в глаза.

– Говорят тебе: ступай!

– Барин, а барин! Неужто вы занапрасно хотите душу губить?

– Дурак, где есть огонь, там, наверное, если не тепло, то сухо. Пошел прямо!

Вздыхнув глубоко, Игнатка повиновался. Несмотря на близость освещения, мы ехали очень долго, то спускаясь в лощины, то поднимаясь на бугры, по мере приближения нашего к этому освещению, оно слабело и погасало; не желая потерять из вида и последнего из этих светочей, я велел свернуть с дороги и ехать прямо; после мучительного переезда по пашне мы выбрались на луговину и очутились у опушки леса. Пропутав довольно долго между порубей и кочек, мы снова попали на дорогу, которая повела нас вдоль опушки. Рассчитывая по месту и времени, я был вполне уверен, что мы находились вблизи виденного нами огня: в воздухе был слышен запах дыма и копоти, и сквозь густую кущу деревьев блеснула синеватая искорка угасавшего огня; но в ту минуту, как я намеревался остановиться для освидетельствования этой надежды на просушку, сонная чаща, казалось, пробудилась. В одно мгновение послышался звон железа, шум, треск, лай и рев огромной стаи псов, и вместе с тем вся эта орава, казалось, со всею кущею берез, дубов и осин, рушилась прямо на нас. Более я ничего не взвидел, потому что в это время раздался неистовый крик Игнатки, и лошади во всю прыть помчали нас снова на кочковатый луг. Уцепившись крепко за тележку, я несся как стрела; кувыркаясь со стороны на сторону, бросая вожжи и закрыв лицо руками, Игнатка при каждом толчке прыгал передо мною, как эластический мяч. Раздался один из самых сокрушительных ударов о пень, тележка крякнула, Игнатка прыгнул выше обыкновенного, и в то же мгновение вместо его заплясала перед мною дуга. Склонившись набок, я промчался еще несколько саженей вперед. Наконец последовал отчаянный скачок вниз, дуга скрылась, подо мной что-то грохнуло, блеснуло, я щелкнул зубами и очутился верхом на пристяжной. «Аглядемшись», я увидел сверху целую стаю собак: все они, казалось, не решались приблизиться ко мне по причине крутого спуска.

Вскоре послышалось хлопанье арапников, и какие-то сиповатые голоса кричали: «Атрышь! К нему! В стаю!» Вслед за тем между собаками появились две длинноватые тени, вроде человеческих.

По пересылке изрядного количества вопросных пунктов, сверху вниз и снизу вверх, две тени тотчас превратились в Сергея и Ваську, двух смиренных выжлятников¹ графа Атукаева.

Вскоре я вышел на сушу и с помощью выжлятников и прибывших на голос их двух псарей прежде всего пустился в розыски. Все оклики и призывы наши оставались без ответа. Вскоре, однако же, мы увидели среди луга четырех гончих, которые что-то обнюхивали. Мы пошли туда. Поместясь между двух мягких кочек, Игнатка лежал вверх носом и смотрел испуганными глазами. Только мой голос способен был вызвать его из этой немой созерцательности. Сложив все доказательства воедино, мы наконец привели его в чувство, но убеждение в том, что мы были обойдены лучшим, он дал себе клятвенное обещание «сохранить по конец гроба жизни» и отправился вытаскивать лошадей из тины.

Между тем огни запылали снова; я подошел к одному из костров и вынул из кармана часы; стрелка показывала три. После часов глазам моим предстали три огромные фуры, такой емкости и величины, что каждая из них способна была поглотить самую многочисленную семью правоверного Кутуфты.

Одна из этих громад была на рессорах, длиннее прочих, и по множеству круглых окошек, прорезанных в обоих боках кузова, являла собою собачью колесницу. Кроме великанов экипажной породы, под сенью их стояли дрожки и другие крытые экипажи и, сверх того, смиренные русские телеги, вокруг которых, пятками и десятками стояло около шестидесяти лошадей.

Обрамленная с обеих сторон двумя отрогами леса, площадка вдавалась мысом в непроходимую кущу ельника, под сенью которого белели две палатки, а подле них несколько шалашей, наскоро устроенных из ветвей, соломы, попон и войлоков.

Одно из пепелищ было обставлено треножниками, кастрюлями, котликами, ящиками, самоварами и прочими кухмистерскими принадлежностями; кроме того, в разных местах было постлано множество соломы, на которой покоились борзые, или туго свернувшись крендельком, или на всем боку, нежно потягиваясь и выпрямляя усталые ноги.

Я раскурил сигару и занялся рассматриванием подробностей этой картины. Псари и конюхи пробуждались поочередно и, выползая то из среды борзых, то из чащи, немедленно приступали к исполнению обязанностей; лошади начали потихоньку ржать и постукивать копытами, храбро поглядывая на приступивших с торбами к одной из фур для насыпки овса; то вдруг которая-нибудь из собак вскакивала, садилась на четвереньки, горбилась, зевала, вытягивала шею, и потом, сделав несколько вольтов на месте, ложилась снова и свертывалась в клубок: эта перекладка на другой бок сопровождалась неизбежным рычанием одной или обеих соседок; иные из них были так неуживчивы, что вскакивали сами с явным намерением к драке: затевалось общее ворчанье; в таком случае немедленно присоединялся к ним голос которого-нибудь из псарей: «Но-о! А-си-на! В свал-ку!» – и спокойствие водворялось. Но вот в палатке раздалось одно из многозначительных побрякиваний, за ним про протянулось мягкое, эластическое: «Эй» – и два псаря по бежали к крайнему шалашу: «Артамон Никитич! Артамон Никитич! Граф проснулся!» В ответ на это раздалось громкое и быстрое: «Сейчас!» – и высокий стройный малый выскочил из шалаша в одном жилете. Он тотчас напялил на себя темный казакин и, не мешкая, отправился к ящикам: вынул серебряный судок с пустым стаканом, под левую мышку захватил графин с водой, а в правую руку взял бутылку с фонарем.

Навстречу к нему из палатки вышла красивая борзая собака, потянулась сначала назад, потом наперед, потом уперлась на все четыре лапы, мощно встряхнулась, загремела ошейником и замахала хвостом, приветствуя Артамона Никитича.

¹ Выжлятники – помощники ловчего.

Отправясь вслед за графином и бутылкой, я услышал вначале явственные признаки полоскания графского рта, потом полоскание стакана и всплеск воды на траву, потом, когда вслед за этим всплеском стакан снова начал наполняться жидкостью, уже не из графина, а из бутылки, я успел раза два погладить мягкие и красивые завитки серого Чауса.

– Кажется, ночью был дождик? – спросил Атукаев своего камердинера после трех звучных глотков.

Я тотчас смекнул, что человек, имевший удовольствие размачивать себя в продолжение пяти часов, имеет полное право доносить о дождях, слякотях и прочих выскочках природы, а потому, не желая вводить в грех полусонного камердинера, входя в палатку, сказал:

– Был, и очень порядочный.

В ответ на это донесение меня встретили неизбежные: «Ба, ба, ба!» – и следующие за тем приветствия, что я свалился с неба.

– Просто-напросто твои выжлятники вытащили меня из какой-то трясины, – сказал я, усаживаясь на графскую постель, состоявшую из полукопны сена, застланной ковром.

После этого пошло в ход подробное описание моего путешествия, взамен которого, по примеру всех романистов, следовало бы заняться описанием графской особы, но мы, надеюсь, успеем ознакомиться с ним и без этих предисловий.

– И прекрасно! – сказал Атукаев, выслушав до конца мое повествование. – Это тебе в наказание за прежние отказы потешиться вместе с нами. Ну, теперь как же ты хочешь поступить насчет дальнейшего странствования?

– Это будет зависеть от тех удобств, какие представит мне мой экипаж при появлении своем из болота.

– А по-моему, так эту статью придется повести иначе.

– Как же?

– А вот как мы это устроим. Во-первых, ты, как приبلудная овца, волею-неволею прилепляешься к нашему стаду, и я, как пастырь, беру тебя под свою опеку. Второе и главное есть то, что у меня вчера был передох (дневка), и вечером подвыли пять голосов в котловине да два отозвались в Асоргинских; поэтому мы нынче обедаем в Клинском, а вечернее поле берем в Глебкове; оттуда, как тебе известно, останется до дома всего-то восемь верст: следовательно, Игнатка твой откормит здесь лошадей и увезет на паре изломанную тележку домой; третья уйдет вместе с кухней и моими заводными в Клинское, а завтра возница твой, с новой таратайкой, явится нам в Глебково. Гут?

– Да еще какой гут! Просто на славу.

– Ну, и чудесно! Значит, ты теперь в моем распоряжении?

– В полном. Одним словом, я одна из самых послушных овец твоих, и попечительство начнется тем, что ты велишь тотчас подать мне стакан самого горячего чаю, потому что я продрог до костей.

– Ну, и прекрасно! Эй! Чаю!

В это время я отвернулся к стоявшему в углу фонарику, чтоб раскурить сигару, и вдруг почувствовал, как две ладони закрыли мне глаза, и звонкий тенор произнес над ухом:

– Узнал?

– Узнал, – отвечал я наугад, желая скорей освободиться; но этим не кончилось: я должен был выдержать полный курс обниманий, прижманий и лобзаний, и только по окончании этой давки мог явственно отличить высокую фигуру Луки Лукича Бацова от дубленого полушубка, облакавшего оную.

– Каков! Прискакал! Слышал, братец, слышал все, как ты там в болоте... Ну, да это пустяки! Вообрази, мы почти год, как не виделись, Ну, да это пустяки! А вот что: вчера подвыли семерых; а главное, вообрази, Карай-то мой, Карай! Третьего дня – лису матерую, то есть можешь ты себе представить, с первой угонки, как вложился – джи!..

Лука Лукич не окончил еще начатого рукою жеста, выразившего, по его мнению, ловкость и удалство Карая, как из соседней палатки послышался хорошо знакомый мне голос г. Стерлядкина.

– Врет, все врет! Не верьте ему...

– Так и поволок, – продолжал Бацов, – Ну, что он там орет спросонков, эта щучья пасть! Не верь ему братец!.. Он что ни скажет – все пустяки. Здравствуй, граф! А где же Хлюстиков?

– Эй! Подать сюда Петрунчика! – сказал граф людям. – Да он вчера так нахлестался, что, я думаю, и теперь еще не пришел в память.

– Ничего! – кричал Стерлядкин из своей палатки. – это ему не в первый раз, да и не в последний. Здравствуй, граф! Каково спалось под дождиком?

– Хорошо. А у нас вчера что-то долго шла потеха. Ну, что: на чем решили?

– Известное дело, на чем. Карая нынче придется по хвосту.

– Слышишь, Лука? – сказал граф, обратясь к Бацову, – И ты в силах будешь перенести этот удар? А с кем идет?

– С Азарным! – кричал Стерлядкин. – На первого подозренного; прибылые не в счет; да еще добро бы до первой угонки, а то прямо на завладай.

– Ого! Ну, что ты, брат Лука? Уж, видно, напрямик с ума спятил! Воля твоя, у меня вчуже сердце замирает. Добро бы еще на дюжину шампанского, а то, посуди сам, ведь это срам на всю жизнь.

Бацов молча покручивал усы; заметно было, что он начал трусить. «Пустяки», – сказал он, но уже не так громко и отчетливо.

– У тебя все пустяки! А рассуди-ка сам: Карай твой слова нет, собака добрая, во всех ладах, да молода; притом же, ты сам знаешь: псовая, пылкая, следовательно, накоротке; сверх того, коли не осердишься, я скажу правду: он, брат, у тебя больно подуздоват!² А коли ты охотник с толком, так знай, что подуздоватая собака всегда непоимиста. Куда ж ты заехал? Добро бы на садочного; да еще до угонки; а то давай нам подозренного, да материка! Эх куда хватил! С Азарным – шутка! Нет, брат, я Азарного знаю...

Граф не кончил и начал вслушиваться. За палаткою шла страшная возня:

– Слышь, прочь, прибью! Подлец буду – прочь! Зарежу!..

Я выглянул из палатки.

В шалаше, из которого недавно появился камердинер, лежал маленький человек в заячьем полукафтани и размахивал ногами, отбиваясь от двух псарей, которые старались завладеть им. По голосу и складу бранчивой и отрывистой речи я тотчас узнал в нем Петра Сергеевича Хлюстикова.

– Тащи, тащи его! – кричал голос из палатки.

– Слышите, Петр Сергеевич? Граф кличет. Пойдемте! – говорил псарь.

– Пошел, дурак! Ты видишь: я сплю.

– Нельзя: приказано будить.

– У-у! Нельзя, нельзя, скотина! Прочь убирайся!

– Бери, тащи его! – раздался голос Бацова.

– Петр Сергеевич, Лука Лукич зовет...

– Лу-ка! Лу-кич! Скажи ему, что он такой же скот, как и ты!.. А Карай – просто шалава...

В палатке раздался общий смех.

– Тащи, тащи его! – кричал Стерлядкин, выходя из своей палатки в колпаке и беличьим халате.

– Еще один! А-а-ай! Не буду. Голубчики, пустите!.. Иду, право, иду! – кричал Хлюстиков, барахтаясь на руках у псарей.

² Подуздоватая – нижняя челюсть короче верхней.

В палатку подали чай.

Хлюстиков явился вслед за самоваром.

Украшенное тройным комплектом веснушек, лицо его было до крайности мало и в минуту выражало на себе тысячу различных оттенков. Темно-каштановые курчавые волосы, наперекор всем прическам, постоянно убегали вверх, вообще же, сочетание всех мелких частиц этого лица носило выражение, порождавшее в каждом невольный смех. На взгляд Хлюстикову было лет около пятидесяти.

Он подобострастно подошел к постели Атукаева, который погладил его по голове и потрепал по щеке.

– Вот, Петрунчик, умница! Встал раненько, а теперь пойдет умоется, причешет головку и явится в нам молодец молодцом.

– И подадут ему стакан чаю, – прибавил Бацов, ударяя на слово «чай».

– Чаю... Дурак! Я не гусь... Эй, ча-ла-эк! Отставному губернскому секретарю, чуть-чуть не кавалеру, Петру Сергееву, сыну Хлюстикову – трубку, водки и селедки. Но-но! – Эти слова были произнесены подобающим тоном.

В минуту было подано то и другое.

Взявши в одну руку коротенькую трубочку, а в другую – налитую рюмку, Хлюстиков значительно подмигнул глазком, крякнул, плюнул, показал язык Бацову и мигом опорожнил рюмку, но в то же мгновение глаза его выпучились, лицо сморщилось, он вздрогнул и сердито швырнул рюмку человеку под ноги.

Разразился общий смех.

– Пад-ле-цу-ксу-су-су... – шипел Хлюстиков, харкая и отплевываясь.

Наконец он жадно приступил к куренью. После трех сладостных затяжек перед носом Хлюстикова взлетел огненный фонтан от вспыхнувшего пороха, положенного на дно трубки, и Хлюстиков опрокинулся на графскую постель. Наконец он вскочил и с бранью убежал в шалаш.

Допив второй стакан чаю, я вышел из палатки.

Игнатка мои крепко спал, растянувшись перед пылающим костром. Испачканные в грязи и тине лошади исправно ели овес, спустя головы в изломанную тележку которая казалась вовсе не годною к употреблению. Вокруг меня все было в движении: псари оседлывали лошадей; кучера впрягали других в брички и колесницу; повара укладывали кастрюли в ящики; выжлятники смыкали гончих; стремянный, с двумя борзятниками подлавливал графских сворных и пихал в колесницу. Между охотниками шли непрерывные перебранки и пересмешки, собаки выли, прыгали, вытягивались и махали хвостами, лапаясь к своим хозяевам.

– Глядь-ка, глядь, Кирюха! Савелий Трофимыч знает-таки учливость, – сказал борзятник Егорка своему соседу.

Все обратились к колеснице.

Там, перед графским стремянным, стоял старичок-охотник, лет шестидесяти, без шапки, и низко кланялся; на руках у него лежала тощая борзая собачонка.

– Эх, Трофимыч, твою бы Красотку, замесь коляски, хоть и повыше куда вздыбить, так в ту ж пору.

Охотники засмеялись.

– И что вы, батюшка Ларивон Петрович! Собака – мысли; перед богом, не лгу. Не перебрамшись, слабосилок, в разлинке. А да-ка нам... Намедни, как по матером-то она с графской Заигрой, постреленок, ухо в ухо! Перед богом, не лгу... ажно седло подо мной затрепыхало... Поди, матушка, подь туды, подь!.. – продолжал старик, сдавая свою любимицу стремянному на руки.

Собака мигом очутилась в рыдване и, глядя в окошко на удалявшегося Трофимыча, жалобно взывала.

– Ишь, она к почету-то не привыкла, – сказал Егорка.

– Не замай, граф увидит! Она в те поры за сук уцепится, – отвечал Кирюха, затягивая подпругу.

Я еще раз взглянул на спавшего Игнатку, и мне стало жаль будить его. С правой стороны сквозь чашу просвечивала заря. Я пошел снова к палатке: там был слышен голос Бацова; граф был уже одет; Хлюстикова по-прежнему сидел на постели, подбоченясь, и, прищуря глаз, насмешливо поглядывал на Бацова.

– Это пустяки, – продолжал Бацов. – После этого ты станешь уверять меня, что я не человек.

– Конечно, разве ты человек! Ты – Бацов. Граф, голубчик, прикажи дать рюмочку!

– Петрунчик, ты душка! Кажется, намерен с утра сделаться никуда не годным, – сказал Атукаев, щипля его за щеку. – Этим ты меня очень огорчишь.

– Голубчик, ваше сиятельство! Одну только, право, одну! Я ведь по одной пью...

– Ну, нечего делать. Дай ему мадеры!

– Только побелей, этой, знаешь, великороссийской, из-под орла... Кхе! – Тут Хлюстикова щелкнул языком, заболтал ногой и выразил многозначительную мину.

– А знаешь ли, за что его из суда выгнали? – спросил Бацов обратясь ко мне.

– Умны были, догадались... Эх, Бацочка моя, ты и того не смыслишь! Расталке муа... Кхе!

Хлюстикова мигом опорожнил рюмку.

Люди качали снимать палатку.

Отдав наскоро кое-какие поручения своему кучеру я поспешил к обществу.

Шестьдесят гончих стояли в тесном кружке, под надзором четырех выжлятников и ловчего, одетых в красные куртки и синие шаровары с лампасами. У ловчего, для отличия, куртка и шапка были обшиты позументом. Борзятники были одеты тоже однообразно, в верблюжьи полукафтаны, с черною нашивкою на воротниках, обшлагах и карманах. Рога висели у каждого на пунцовой гарусной тесьме с кистями. Все они были окружены своими собаками и держали за поводья бодрых и красивых лошадей серой масти.

Нам подвели оседланных лошадей; людям начали подносить вино.

– Ну, смотри у меня! – начал граф, обратясь к охотникам. – На лазу³ стой, глаз не раскидывай; проудил⁴ – не твоя беда, прозевал – ремешком поплатишься. Чуть заприметил, что красный зверь пошел на тебя, не зарься, дай поле. Поперечь, а то в щипец⁵ нажидай... особенно лису: заопушничала подле тебя без помычки, на глади – стой, не дохни; а место есть на пролаз, тотчас рог ловчему посылай. Ты, Кондрашка, смотри, берегись: я видел в прошлый раз, как ты бацовскую лису, без голоса, втравил в отъемную вершину... А главное, на драку⁶ без толку не подавать. У всех вас есть эта замашка; глядишь, чуть щелкнула которая, или там увидел полено⁷ али трубу,⁸ и пошел клич кликать – и все, дурачье, сыплют к нему, а ловчий хоть умирай на рогу: «У нас, дескать, своя забота!» Вот я за вами сам начну присматривать! Садись!

Люди начали садиться на лошадей: собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников.

Ловчий⁹ со стаею тронулся вперед; за ним поплелась длинная фура с борзыми; доезжачие¹⁰ разравнялись по три в ряд. Раздался свисток. Егорка поправил на себе шапку, тряхнул головой, откашлянул и залился звонким переливистым тенором:

³ Лаз – место, откуда нажидают зверя.

⁴ Проудил – протравил, не поймал.

⁵ Щипец – пасть.

⁶ На драку – на подмогу.

⁷ Полено – волчий хвост.

⁸ Труба – лисий хвост.

⁹ Ловчий – правящий стаею гончих собак.

Эх, не одна в поле дороженька...

Еще свисток – и двадцать стройных, спетых голосов грянули разом:

Пролежала...

Вскоре и эхо в лесу крикнуло нам вслед:

Эх, зарастала...

Русское солнышко засветило нам с левой руки.

Отойдя с версту, мы увидели в стороне маленькую деревушку. Граф приказал охотникам идти до места, а мы повернули направо, и, в сопровождении стреляющих, поехали рысью по узкой проселочной дорожке. У крайней избы стояли пять оседланных разномастных лошадей; возле них бродило около дюжины борзых и два человека в нагольных полушубках, туго подпоясанных ремнями.

– Вот и наши мелкотравчатые, – сказал Атукаев, слезая с лошади.

Навстречу к нам выбежал из избы низенький, плотный, с крошечными усиками и распухлыми щеками, нестарый человечек в сереньком казинетовом сюртучке и начал раскланиваться на все стороны.

– Что, ваше сиятельство, заждались? А мы было тотчас только что... – лепетал он, пожимая с низкими поклонами руку Атукаева.

– Вот, прошу познакомиться: наш помещик Трутнев, – сказал Атукаев, обратясь ко мне.

– Очень приятно-с! Честь имею рекомендоваться, – лебезил Трутнев, шаркая ногами.

– Я, кажется, уже имел удовольствие вас встретить?

– Ах, да, виноват, у Трещеткиных... они, признаться сказать, немножко мне сродни... Здравствуйте, почтеннейший Петр Сергеич, мое вам почтение, Лука Лукич! Степану Петровичу!..

Трутнев остался на крылечке с Стерлядкиным; мы вошли в просторную крестьянскую избу: два окна на улицу и одно на двор, печка, полати, и кругом лавки; в красном углу стоял длинный стол; одна половина была густо исчерчена мелом и завалена картами, на другом конце красовался графин с водкой, а подле него солонка, кусочек черного хлеба и полуизгрызанный кренделек. Тут же, опершись локтем о конец стола и задумчиво спустя лысую голову, сидел осанистый мужчина в телячьем яргаке; он держал между пальцев на весу погасшую трубку и, не обращая ни на что внимания, рассуждал сам с собою:

– Мо-шен-ник ты... валет семь с пол-тиной... па-роль проиграл! Са-а-вра-сого взять – нет, врешь, Во-лодька! – бормотал сидящий.

Явился человек, потер полою стол и убрал карты, потом протянул руку к графину.

– Ст-ой, дур-рак! Ку-да? – завопил рассуждавший. Он медленно поднял голову и уставил на нас глаза.

– Граб-бители! – произнес он, опускаясь снова, и уронил трубку на пол.

– Этот теперь ни на что не годен, – сказал Бацов.

Вбежал Трутнев и начал торопливо будить протянутого вдоль лавки мужчину в синем пальто, с густыми бакенбардами.

– Степа, а Степа, вставай! Граф приехал! Степа отбивался локтем и бормотал:

– От-стань, не хочу!.. Ну, пошел!..

– Эх ты их усахарил! – сказал Бацов Трутневу.

– Степа... граф! – крикнул Трутнев над самым ухом.

Степа обернулся, отделил глаза рукою, всмотрелся и вскочил как встрепанный.

В это время Хлюстиков овладел графином, налил рюмку и запел «Чарочка моя» и проч.

– Ах, m-g le comte! Mille pardons! Извините, право извините! – болтали Бакенбарды и кинулись будить лысину.

¹⁰ Доезжачий – охотник с борзыми.

– Петр Иванович! Что ж ты? Мы все...

– Граб-ит-ел-и... у-к!..

Петр Иванович еще икнул и замотал головой.

– Ну, не замай его – травит тут, – сказал Бацов.

Мы вышли.

Полями, буграми, лощинами, перелесками, то тротом, то шагом проехали мы верст десять и наконец, спускаясь на луговину, услышали стройный хор песенников. Завидя нас, они перестали петь и начали поить у ручья лошадей и выпускать борзых из фуры. Освобождаясь от заточения собаки радостно зывали, прыгали, потягивались и ласкались к лошадям и охотникам. Некоторые из них стрелой помчались к нам и с радостным визгом начали прыгать на седла к своим господам.

– Ты, Ларка, – сказал граф стремянному, – возьми к себе Обругая, Крылата и Язву; а мне к Чаусу Злоима и Наградку, а Сокола и Пташку отдай тому охотнику, которого вот им, – граф указал на меня, – угодно будет взять к себе в лаз.

Пока я благодарил графа за внимание, стремянный ловко подвернулся ко мне и шептал:

– Возьмите, сударь, кума Никанора: у него собаки приемисты.

Это предложение мне не понравилось: я метил на удалого малого, Егора.

Мы подъехали к стае.

– Ну, выбирай любого, – сказал Атукаев, обратясь ко мне, – Они у меня все знают свое дело.

У каждого из охотников, на которых я мельком взглядывал, просвечивало в глазах сильное желание попасть ко мне на барский лаз. Не желая быть невнимательным к предложению стремянного, я решил одним камнем сделать два удара.

– Кум Егор, со мной! – сказал я отрывисто.

– Эх, сударь, забыли! Я вам докладывал: Никанора, – шептал стремянной.

– Ну, брат, извини! Промахнулся!

Егорка с радостным лицом подбежал ко мне и принял на свору Сокола и Пташку.

Поднявшись на крутой бугор, мы проехали с версту полем и остановились у котловины.

Граф пригласил гостей и приказал доезжачим занимать места.

Стая гончих и красные куртки тотчас отделились от нас и медленно потянулись вверх.

– Сударь, не извольте отставать от графа, – шептал Егорка, – Он пойдет налево, за эти дубки: там, я знаю, лучший лаз. Вишь, бацовский стремянный так и пялит туда свои бельмы!

Мы спустились и поднялись из оврага, проехали сажень двести полем и кустарником и остановились в голове обрывистой водомоины, которая, расширяясь постепенно, сливалась с котловиною. Граф и стремянной потянулись от нас за дубки.

Стратегическое достоинство пункта, избранного Егоркой, если и не удовлетворяло всем потребностям, нужным для опытного охотника, зато зрению моему было чистое раздолье. Под ногами у нас неизмеримо длилась глубокая впадина земли, образовавшая собою болото, с высокими кочками, заросшими густым олешником и камышами.

В широкую ложбину эту, так кстати названную котловиною, врезывались со всех сторон покатые бугры, пересекаемые лощинами, оврагами и водомоинами. Пункт, на котором остановились мы, владел всей местностью, и я мог отчетливо следить за движением охотников и вместе с тем любоваться сметливостью каждого из них при занятии мест. То исчезая, то вырастая словно из земли, красные куртки ловчего и выжлятников медленно плыли по горизонту. Наконец они утонули в лабиринте спусков и только через четверть часа показались снова на скате высокого холма, поехали прямо на нас и вдруг остановились. Стоявшие на местах охотники были все на виду: в соседстве со мной, налево, сажень в полутора, был Ларка-стремянной, а за ним, дальше, граф; направо, в кустарнике, через который мы прошли, поместился старик Савелий Трофимыч со своею Красоткой.

Прошло минут пять в бездействии; наконец Атукаев приложил серебряный рожок к губам: раздался короткий и трескучий звук; старший доезжачий тотчас повторил его на другой стороне ложбины, поближе к ловчему; сигнал этот, в переводе на язык человеческий, означал: «Мечи гончих в остров!» Я явственно увидел, как четыре красные куртки упали в стаю; ловчий один поехал медленно с бугра, и к его ногам, словно мухи, покатались разомкнутые гончие, отрываясь попарно от темного пятна, посреди которого копошились красные куртки; наконец они остались одни и, мгновенно вскочив на лошадей, помчались вниз, вслед за остальными гончими. На краю болота заревел басистый рог ловчего, захлопали сразу четыре арапника – и пошло порсканье.

– Теперь, сударь, извольте становиться на место!

– Разве я не на месте?

– Нет. Теперь нам нужно в притин, – сказал Егорка. – Извольте видеть? – продолжал он, указывая на окрестность.

Я взглянул. Действительно, места, на которых за минуту до этого стояли охотники, были пусты. Все они расползлись, словно мухи по щелям.

– Куда ж нам?

– А вот, – сказал Егорка и поворотил лошадь.

Мы выехали в густой куст ивняка, из-за которого можно было видеть только одни наши головы; местность отсюда открывалась еще явственнее.

Вскоре к порсканью присоединился голос одной собаки.

– Это Будило, – сказал Егорка.

К первому голосу примкнули еще два, такие же басистые.

– Это Рожок и Квокша, – продолжал мой стремянной.

Красные куртки зашевелились в болоте и начали накликал «на горячий».¹¹

– Что ж это значит?

– Это еще ничего! Вот кабы Кукла да Соловей!.. А вот и он!.. Эх, варят... подваливают...

Ну, повис на щипце! Теперь, барин, держитесь крепче: лошадь под вами азарная.

Я укоротил поводья, укрепился в седле и взглянул Егорку: он дрожащими руками перебирал узду и выправлял свору; лицо его бледнело, рот был полуоткрыт, глаза светились как у молодого ястреба.

Ловчий подал в рог.

– По красному, – сказал Егорка, чуть дыша. С этим словом в котловине закипел ад: с фэготистыми и на подбор голосами собак слился тонкий; плакучий, переливистый и неумолкаемый голос Куклы; к ней подвалили всю стаю, и слилось заркое порсканье. Камыш затрепещал, болото пошло ходуном и словно вздрагивало и колебалось под громом этого бесовского речитатива.

– Ну, одна катит! – прошептал Егорка, глядя в болото.

Я тоже начал всматриваться.

Лисица тихо прокрадывалась мимо нас по болоту и, как тонкий осенний листок, стлалась между кочек, то поднимая свою вострую головку, то припадая к земле; она наконец миновала наш лаз и, подбуженная новым приливом порсканья, вынеслась на бугор и покатила прямо в кусты. Старик Трофимыч стоял не шевелясь; наконец он заулюлюкал, указал ее собакам и скрылся из вида.

В то же время на противоположной нам стороне в разных местах охотники принялись травить в несколько свор.

¹¹ «Горячий» – свежий след.

Мне почудилось наконец, что стая погнала в нашу сторону, и действительно, через минуту что-то начало ломиться в камыше; вскоре затем выкатил матерой волк и понесся по кочкам, прямо в вершину, в голове которой был наш секретный пост.

– Егорка, видишь? – спросил я шепотом.

Егорка мой стиснул зубы и только дрожащею рукой подал мне знак пригнуться: он блестящими глазами своими, казалось, прожигал куст, сквозь который смотрел на волка.

Наконец зверь очутился противу нас, сажень в десяти; Егорка молча показал его собакам и бросил свору из рук. Пять собак рванулись разом, и Сокол первый, грудь в грудь, сцепился с волком: оба они слились в одно неразрывное целое, покатались по земле и исчезли в водомоине; прочие собаки скучились и прыгнули туда же; мы очутились там же, но, – увы! – раздался пронзительный визг, и храбрый наш Сокол, облитый кровью, катался по земле; волк сидел, ошелкиваясь от прочих собак, которые не смели к нему подступить. Егорка подал на драку, но зверь прыгнул на чистоту, принял направо и поскакал полем. Недолго, однако ж, длилась эта прыть: в рытвине, противу нас, мелькнула шапка стремянного и в то же время три свежие собаки понеслись навстречу дерзкому беглецу.

Волк не устоял противу первого напора приемистых и свычных с делом бойцов: он оробел, ошелкнулся и пошел наутек, но Крылат и Обругай повисли на нем; наши собаки подошли, скучились, и свалка сделалась общею; прежде, однако ж, чем мы успели подскатать, волк стряхнул с себя кучу собак и, ошетинясь, сел в кружку, страшно сверкая глазами; подле него катался по земле Обругай с прокушенным боком. Егорка прыгнул с лошади и пошел к волку с кинжалом в руке. Видя нового врага, расвирепевший зверь рванулся отчаянно вперед и побежал ошелкиваясь от собак, мимо дубов к кустарнику. Но вот из-за куста, между полынью, шмыгнуло что-то, со свистом, как спущенная стрела, и серый Чаус в мгновение ока сцепился с зверем и покатался с ним по пашне; собаки налетели на них гурьбой, и из них образовался один неразрывный клубок.

К нам подскакали старик Савелий и граф.

И вот в середине этого кружка что-то сильно поколебалось; собаки разлетелись врозь, и посреди них, как два достойные бойца, волк и Чаус поднялись на дыбы, схватились яростно и снова грянулись на землю; собаки снова накрыли их плотною броней.

Граф приказал принять зверя.

Охотники прыгнули с лошадей, и Егорка первый, схватя волка за заднюю ногу, всадил ему в пах кинжал по рукоятку; собаки отскочили; на земле остался один только Чаус: пасть его впиалась в волчье горло и замерла нем; зверь, хрипя, лежал врастяжку; стремянной бросился к Чаусу и рознял ему пасть кинжалом.

Храбрый боец при общих похвалах отошел тихо в сторону и снова пал на землю, сильно дыша; из горла у него валила клубом кровавая пена; налитые кровью глаза блестели, как раскаленные угли.

Егорка с радостным лицом принялся вторачивать волка, как трофей, принадлежащий ему, по правам охоты.

– Ваше сиятельство! Честь имею поздравить вашу милость с полем, батюшка! – сказал старик Савелий, снимая шапку.

– И вас также, Савелий Трофимыч! – отвечал граф весело, подражая старику в ухватках. У Трофимыча была в тороках лиса.

Мы спешили и пошли левым берегом котловины, весело разговаривая о событиях удачной травли. Я гладил Чауса, который шел подле графа и сделался смирен, как овца. Атукаев был очень доволен быстротою действий и смелливостью своих охотников.

Ловчий, стоя на бугре, вызывал на рог гончих из острова: мы подошли к нему; вскоре и прочие охотники начали туда съезжаться.

На той стороне котловины затравили двух волков прибылых, лисицу и несколько зайцев. Каждый из охотников, рассказывая подробности травли, приписывал своей своре необыкновенные достоинства; но все они, однако же, завистливо поглядывали на торока Егоркины, потому что подобного волка никому еще из них не случалось возить за своим седлом.

– Сорок лет сию на коне, ваше сиятельство, – повторял Трофимыч, – а таких не принимывал!

В это время к нам подъехали Бацов и Стерлядкин с прочими господами.

– Посмотри-ка, Лука Лукич! – сказал я, указывая на волка.

– Это, братец, пустяки; а ты вообрази себе, Карай-то мой, Карай, опять лису так вот: джи!..

– Где ж она? – спросил Стерлядкин.

– Ну, вот, у Кирюхи, – отвечал Бацов, указывая графского охотника.

– Значит, ты трaviшь в чужие торока!

Все засмеялись.

В Асоргинских до обеда мы еще затравили одного волка и двух лисиц, и ровно в час за полдень жители Клинского, все, от мала до велика, выбежали за околицу встречать наш поезд. С гордым и веселым видом, с бубнами, свистками и песнями вступили удалые охотники в деревню, обвешанные богатой добычей.

У новой и просторной на вид избы стояли походные брички, а на крылечке – люди и повара, ожидавшие нашего возвращения.

С шумом, весельем и смехом вскоре уселись мы за стол. Во время обеда граф поочередно призывал к себе отличившихся охотников, выдавал им определенную награду за «красного» и потчевал вином. Уже подали нам жаркое и в стаканах запенилось искристое вино, когда вошел старик Савелий с своею неразлучно Красоткой.

– Ну, старик, поздравляю, с полем! – сказал граф. – Говорят, что Красотка хорошо скачет? Отчего она худа?

– В разлинке, батюшка ваше сиятельство, не перебрамшись!

– Это за красного, а Красотку дарю тебе за усердную службу.

– Много доволен вашей милостью, – сказал старик. – Навсегда вам слуга, ваше сиятельство!.. Сорок лет на коне сию... Еще покойному дедушке вашему, графу Павлу Павловичу, служил верою и правдою; перед Богом не лгу... – продолжал он, утирая рукавом радостные слезы.

– Старик, продай мне Красотку, – сказал Бацов, подавая ей кусок пирога.

– Как продать-то, барин?.. Свой выкормок, сударь, батюшка, самому-то не при чем быть... на старости лет, ни роду, ни племени, одна племянница была – и тое Господь Бог прибрал.

– Ну, что ж? Ведь Красотка тебе не внучатная? – возразил Бацов.

Старик посмотрел вначале на Бацова, потом на Красотку, и потряс головой.

– Нет, сударь, не продажная!

Мы встали.

Часть вторая

• Спор. • Подозренный. • Карай и Азарной. • Травля. • Явление из болота. • Застава из благородного материала. • Плен. • Новооткрытый способ продовольствовать армию. • Ганька и Мотрюха. • Новый инструмент. • Предмет сатисфакции с бабушкой. • Ужин под столом. • Дверь невидимка. • Побег. •

После обеда между охотниками начался жаркий спор с различными шутками, прибаутками и прочими вариациями. Стерлядкин отпускал остроты насчет Бацова и ловко над ним подтрунивал; последний возражал, горячился, отбранивался, но все это было у него как-то невпопад, как говорят – «не в строку». Меня одолевала дремота, но уснуть не было возможности, потому что волею-неволею я обязан был состоять в роли свидетеля и посредника.

– Ну, ты, скажи, пожалуйста, так ли это все было, как я говорил? – обращался ко мне Атукаев, рассказывая о подвиге Чауса.

Вслед за тем Бацов, в споре со Стерлядкиным и прочими, приступил ко мне с умоляющим видом: «Ну, ты, как сторонний человек, уверь их, пожалуйста» – т. п.

Правду сказать, не выдавши по дальности расстояния ничего, что делалось на той стороне котловины, я брал многое на совесть, но, не желая оставить в одиночестве бедного Луку Лукича, поддерживал его, сколько мог.

Вскоре, однако же, этим разговорам положен был конец. Вошел стремянной и доложил Атукаеву, что к нему припожаловал пастух Ерема.

– Ну, вот кстати; давай его сюда! – проговорил граф стремительно. – Вот вам, господа, и конец всем басенкам, – прибавил он, обратясь к Бацову и Стерлядкину. – Верно, есть подозренный.

С этим словом в отворенную настежь дверь протиснулся необычайного вида человек. Ростом он был – косая сажень, лицом страшен, борода включена, в нечесаной голове торчали солома и ржаные колосья. Наряд его состоял из лаптей, посконных затасканных портов и побуревшего сермяжного полукафтаны с множеством заплат и отрепанными рукавами; под мышкой держал он баранью шапку, а в правой руке такую палицу, ой-ой! При взгляде на это страшилище мне тотчас вспал на мысль Геснер, с его Меналками, Дафнисами, Палемонами и со всею вереницею пригоженьких лиц, удержанных памятью из детского чтения. Поверх кафтана, от дождя Ерема драпировался толстою неудобосгибающейся и не идущей в складки дерюгой, накинутой на плечи в виде гусарского ментика.

Помолясь святым, Ерема поклонился всей честной компании, отшатнулся к притолке и загородил собой дверь.

– Что скажешь, Ерема? – начал граф.

– Русачка обошел, ваше графское сиятельство! – произнес Ерема таким голосом и тоном, по которому можно было понять сразу, что этот страшный и неуклюжий детина был простейшее и добрейшее существо.

– Хорошо. А где лежит? На чистоте? Травить можно?

– Как же, батюшка! В Мышкинских зеленях, на мшцы. Трави – куды хошь. Матерой русачина; сулетошний. Он самый, батюшка, безобманно...

– А, ну, если только он, так спасибо! Вот тебе за усердие, – граф подал ему целковый рубль, – а эти господа еще от себя прибавят. Только смотри, тот ли? Пожалуй, вместо его, ты насадишь собак на какого-нибудь настовика!¹² Как бы нам не сплеховать!

¹² Настовик – молодой заяц, февральский или мартовский.

– Будьте в надежде, батюшка, ваше графское сиятельство, он самый; уж я к нему пригляделся: что ни день, почитай, выдаю. И к скотине приобьик... энтю, нарочно нагоню стадом, – только что ужимается, пес, да уши шулит... лобанина такой...

– Ну, вот вам, господа, и делу конец! – сказал Атукаев Стерлядкину и Бацову. – Вот и увидим, чья возьмет. А уж русачок, рекомендую, распотешит дружков, если это лишь тот, которым я прошлый год потешался раз до трех. Так уж скажу наперед – одолжит! Будет за кем повозить воду! Ну, Лука Лукич?

– Что ж, пустяки, – отвечал Бацов, выпуская обильную затяжку дымом, но в этих как-то небрежно сказанных словах уже было заметно раздумье.

– Этак, пожалуй, мы, не долго думая, и на попятную... – прибавил Стерлядкин.

– У, щучья пасть! На попятную! Кто на попятную? Ты, что ли, пойдешь?

И у Бацова с Стерлядкиным пошли перекоры. Пользуясь их увлечением, граф подмигнул мне глазом, и я пошел с ним в соседнюю светелку.

– Поддерживай, пожалуйста. Луку! – сказал он почти шепотом. – Мне хочется, чтоб он отравил этого барышника (Стерлядкина): уж он слишком допекает бедного Бацова, а Карай, может быть, и оскочет: собака по породе выше Азарного.

– Что ж, господа, полноте вам спорить, не видя дела. Хотите сажать – уступлю вам зайца, а не хотите – мерять своих молодых, – сказал Атукаев, входя обратно.

– Вот тебе и весь сказ! – возразил Стерлядкин Бацову. – Идет, так? Я не отступаю от вчерашнего уговора... Только не иначе, как на завладай, и заднюю по хвосту. Мне не жаль собаки...

– Ну, вот, что ты меня, дурака, что ли, нашел! Пущу я на завладай с осенистой и втравленной собакой! Тебе говорят русским языком, что Карай – погодок и скачет щенячьей... До угонки, изволь. Я те вставлю очки! Разве я не видал твоего редкомаха? За псарскими воду возит; а тут... Пустяки, брат... ты меня храбростью не удивишь!

– Ха, ха, ха! Вот он каков! А вчера как рисовался?

– Полноте, господа, кончайте! К чему тут в далекое забегать? Еще собак вздумали портить!.. Померяли – и конец... Вы за славу, а мы за вас попридержим. Ты за кого держишь? – спросил меня граф.

– Я? Теперь пока не знаю. А вот взгляну, которая покажется, – отвечал я.

– Ну, и прекрасно! Так идет, что ли, господа? Велите ввести собак.

– Да к чему и вводить? У нас семь пятниц на неделе. А там, пожалуй, чего доброго, еще и разревется, как тюлень на льду, – произнес как-то свысока и самонадеянно Стерлядкин, поднимаясь со стула.

– А ты, щучья п... – начал было Бацов с свойственной ему быстротою и энергией, но граф не дал ему кончить. Все мы приступили к состязателям и уговорили их «мерять собак» просто, а сами вызвались присутствовать в качестве судей и общим приговором утвердить славу за быстреей.

Послали привести собак на погляденье. Первого – Азарного – ввел Стерлядкин стремный на своре. Это была муруго-пегая, чистопсовая собака, собранная вполне, рослая, круторебрая, на твердых ногах, но собака скамьистая¹³ и с коротким щипцем. Увидевши своего господина, она степенно подошла к нему и положила голову на колено.

Вслед за ним, на свист Бацова, вихрем влетел Карай в комнату и, прыгнув к нему на грудь, заскиглил и замахал хвостом.

– Ох ты мой... шалунок!.. – приговаривал Бацов, лаская своего любимца. Карай спустился на пол и начал бегать и обнюхивать. Это была очень породистая густопсовая собака,

¹³ Скамьистая – или прямостепая, то есть с ровной спиной.

почти во всех ладах:¹⁴ он был немного лещеват, но с крутым верхом¹⁵ и на верных ногах сухая голова, глаза на выкате, тонкий щипец, хотя немного подуздоват. Глядя на этого, с черною лоснящеюся шерстью и проточиной на лбу, белогрудого красавца, видно было, что он еще не опсовел и по молодости не сложился вполне, но по ладам и «розвязи» нельзя было не предпочесть его Азарному.

– Ну-с, ваше сиятельство, – сказал я полушутя, – если б пришлось попридержаться, я бы не отстал Карая.

– И прекрасно, – отвечал Атукаев, – а я, пожалуй, потянусь за Азарным.

Трутнев подобострастно примкнул к графу и хвалил Азарного; г. Бакенбарды молча управлялся с недопитым стаканом.

Карай, как будто понимая мои слова, прыгнул ко мне на грудь, но эта минутная ласка ничего не значила в сравнении с тем взглядом, каким подарил меня Бацов.

Через полчаса охота в полном составе тронулась с места. Сопутствуемые ватагой мальчишек, мы выехали за околицу. Граф приказал ловчему идти в Глебово, но если не будет дождя, остановиться в завалах, где надеялись найти лисиц; ловчий со стаей и охотниками принял налево и пошел торной проселочной дорогой; мы же, по следам Еремы, разравнялись и поехали прямо полем. Кроме Карая и Азарного, с нами не было собак. Впереди всех, держа по-прежнему шапку под мышкой, широко шагал наш необыкновенный вожак: он, казалось, продвигался вперед очень медленно, но лошади наши постоянно шли за ним тротом; вскоре начались зеленя, и посредине их возвышался небольшой, засеянный рожью курган; налево это озимое поле отделялось от овсянища широким рубезом, и тот же самый рубез загибал под прямым углом и тянулся направо по легкому скату в болотную ложбину, поросшую кустарником и молодыми березками, где и заканчивались озими.

Поднявшись на темя теперь почти незаметного для нас возвышения, казавшегося издали плоским курганом, пастух остановился и показал прямо на низину поля, где, саженях в сорока от нас, был круглый мшарник, или, лучше сказать, не засеянный рожью мочеви́нник, каких бывает множество в озимых полях: желтая сухая трава ярко отделялась от окаймлявших ее густых зеленей.

– Ну, как, сударики, прикажете? Куда гнать будем? – спросил Ерема Бацова и Стерлякина.

– Да он здесь? – спросили оба разом.

– Тутотка, вон, влеве, к самой головке.

– А куда передом? Ты видел?

– Да так вот, на вынос, в угол, к рубезам.

– Не хлопочите, господа! – сказал граф. – Если это русак и материк, так я вас уверяю, что он потянет рубезом; другого ходу у него быть не может, и как вы ни отъезжайте, а на жниво вам его не сбить, скорей же заловят на зеленях, если осият.

– Как же поднимать? – спросил Бацов.

– Просто спуститесь на вашу грань – и катай из-под арапника. Сосворьте собак.

– Кому ж показывать?

– Да вот хоть мой стремянный. Ларка, – продолжал Атукаев своему стремянному, – насади собак и доскачивай! А ты, Лука Лукич, отдай свой арапник Ереме: он поднимет русака. Да не путай же своры, экая горячка! Смотри, точно на эшафот его ведут! Ну, брат, вижу, ты огневый!..

И точно, отдавши арапник пастуху, Бацов принялся сосворивать собак; я заметил, как, пропуская свору узлом внутрь, дрожащие руки его едва попадали в кольца.

¹⁴ Лады – статьи собаки.

¹⁵ С крутым верхом – спина с овалом.

– Что он делает? – крикнул граф. – Смотри, Лука, как ты сосворил? Ты захлеснешь кобелей на мертвую петлю или сам полетишь с седла!

– Ах, да не торопите... вижу!.. – приговаривал Бацов, суетливо вымахивая свору назад. Наконец, уладивши дело, он очутился в седле.

– Що ж, аль пугнуть? – спросил Ерема, бросая палку и шапку.

– Погоди, вот барин станет на место, – сказал граф.

Бацов спустился саженой на десять по скату.

– Довольно! – крикнул ему Стерлядкин. – Тут и двадцати саженой не будет.

– Ступай теперь, хлопай у края, – сказал граф. – Да не кричи, как вскочит!

Пастух, с кнутом в руке, отправился во мшарник. Стремянный подобрал поводья и стал сажень в десяти ниже Бацова.

Минута тревожного ожидания настала для всех. Мне очень хотелось взглянуть в лицо Бацову, но он стоял к нам спиной и глядел вперед. Все молчали; один только Трутнев шептал что-то Бакенбардам. Мне почему-то казалось, что Ерема и век не доползет до мшарника... но вот он очутился на краю, между кочками, посмотрел на нас и хлопнул; со вторым хлопком заяц поднялся с логова: он был почти голубой, потому что выцвел и, несмотря на раннюю осень, начал затирать пазонки.¹⁶ Пошел он не во весь бег, а перетраивал, поднимал уши, вслушивался и, приняв круто налево, держал прямо к рубежу.

– Вот так детина! – промолвил граф, любуясь выступкой русака. – С таким чертом едва ли они сладят! Этот даст себя знать!

С первым прыжком русака стремянный пустился рысью и, указывая на него арапником, приговаривал: «О-то-то-то!..» до тех пор, пока не увидел перед собою собак, после чего он пустил лошадь во весь опор и зарко заухал.

Как передать простым, текучим словом невыразимую быстроту и изменчивость той картины, которая развилась теперь перед нами – ясная, живая, но едва соследимая глазом?.. Мы говорим: полет сокола, блеск молнии, но что нарисуют эти слова в понятии человека, слепого от рождения и не видевшего ни лета соколиного, ни синего неба, ни черных туч с их огненной утробой!..¹⁷

Бацов выдержал себя молодцом; он подал собак вовремя, по-охотничьи, по первому звуку голоса доезжачего, и сам остался на месте. Собаки помчались ухо в ухо по лошади; Азарной первый воззрелся в русака, но прыть его длилась только мгновение: завидя зверя. Карай пахнул мимо его и, оставя далеко за собою, круто, щегольски угнал русака, то есть «поставил ушами назад» и сам пронесся далеко в сторону; громкое, единодушное «браво» сопутствовало ему; мы тихо спустились и окружили Бацова.

Азарной, по следам Карая, примерялся, вложился, но разъехался с русаком легко, и быстроногий зверек в мгновение ока отрос от него и очутился на рубеже, и пока сладились и возрелись собаки – он был уже далеко. Азарной первый пошел по нем рубежом, но тут ему суждено было осрамиться окончательно. Растерявшись от своей первой заркой угонки, Карай не скоро сладился и, не видя зайца, пошел по Азарном, но в тот миг, когда взглянул на русака, он собрался сразу, объехал Азарного «с ушей» и отделился от него настолько, что тот, скача сзади с натугой, казался словно стоячим, или, говоря языком охотника, начал «удить».

¹⁶ Пазонки – задние ноги.

¹⁷ Однажды навсегда прошу извинений у моих читателей за те выражения, которых я обязан придерживаться при описании подобных сцен и в разговорах между охотниками. Язык охотничий испещрен множеством таких слов и оборотов, которые могут казаться правильными и понятными только для одних охотников. Как передать, например, не изменяя смысла и не умаляя силы, выражения: повис на щипце, заложился по русаку, заяц начал отрастать – и тысячи подобных терминов? В другом случае, избегая их и выражаясь языком книжным, я рискую подвергнуться нареканию у специалистов дела и заслужить справедливый от них упрек в непонимании предмета.

Взрыв общего одобрения раздался вокруг меня, но он был ничто в сравнении с тем необъяснимым звуком человеческого голоса, какой послышался мне с правой руки. Я взглянул на Бацова: он был бледен и смутно глядел вперед; рот у него был открыт, губы дрожали, он, мне казалось, был близок к помешательству... Да, глядя на Бацова, я только теперь понял значение слова «охотник». Нет, это не простой, обыденный, понятный каждому термин: в нем есть кое-что такое, чему, может быть, посмеются, но не разгадают, не поймут многие...

Но вот с страшной силой и неуловимой для глаза быстротой Карай швырнул зайца с рубежа на озими, и сам полетел кубарем; от этого внезапного толчка оторопевший русак понесся прямо в пасть к Азарно;» Новое «браво» нашего кружка приветствовало удалца, молчал один только Бацов.

Заложась навстречу к зайцу, Азарной скололся, свихнул его к рубежу, повис на нем и держал долго на шипце, но осилить не мог; Карай, справившись, снова швырнул русака от рубежа. Сбившись на зелени, заяц начал уседать, нороя все-таки достичь другого рубежа, но Карай не давал ему хода; раза два собаки скучивались, залавливали, и мы слышали даже, как стремянный отгокал их... но видно, что и тут пришлось по Сеньке шапка: в тот миг, когда обе собаки скучились и я считал уже зайца пойманным, он прыгнул на сажень вверх и, пока собаки слаживались, очутился от них сажень в двадцати и катился по рубежу прямо в кусты. Настал последний дебют для Карая, заискавшего уже общее сочувствие: все постепенные впечатления для глаза исчезли при виде той заркости и быстроты, с какой он снова подоспел к русаку и швырнул его с рубежа на соседя жниво, но сам уже не пошел с места; зайцем завладел Азарной и, скача за ним «в намах», проводил в кусты.

Бедный наш Карай, сидя на месте с поднятой ногой жалобно взвизгивал. Бацов проговорил что-то неопределенное и помчался во всю прыть к своему любимцу; мы тоже поскакали вслед за ним.

Когда мы остановились, Бацов сидел уже на рубеже и держал на руках Карая. Из передней лапы у него текла обильно кровь. По осмотре раны оказалось, что он сорвал передний ноготь. У пылких собак это бывает зачастую, особенно если неопытные и горячие охотники травят ими в позднюю осень по мерзлой пашне.

Впрочем, сорванный ноготь, кроме сильной боли на первых порах и двухнедельной хромоты, пока образуется молодой ноготок, худших последствий за собой не влечет.

Все мы обрадовались этому незначительному случаю, тем более, что, скача за Бацовым, граф и прочие охотники полагали увидеть собаку с переломанной ногой.

Подъехал Стерлядкин и волею-неволею начал поздравлять и приветствовать своего соперника; но он не успел промолвить и пяти слов, как за ложбиной послышалось отчаянное: «Ату эво!» и отравленный нами русак вынесся обратно из кустов по рубежу прямо к нам; его гнал Азарной и пять новых собак, а за собаками, на рьяном коне, не разбирая ни кустов, ни кочек, без шапки, поблескивая лысиной, с висками на отлете, выскочил в полном смысле слова, из болота Петр Иванович! Заяц увидел нас и вильнул в сторону; Карай возрелся, рванулся взвизгнул, помчался, и на том месте, где он встретил русака, последний, лежа на боку, только потрепывал лапками: Карай убил его грудью.

– О-го-го-го! – загудел Петр Иванович, соскакивая с лошади, в то время как Азарной и его собаки накрыли убитого русака. – Атрыш! Атрыш! – закричало все наше общество. Графский стремянный очутился тут же.

– Отпазончи¹⁸ русака и вторачивай¹⁹ в свои торока, – сказал ему Трутнев.

– Как это? Что такое? Я травил... да это разбой, господа!.. Это... я... Отнять насильно – пожалуй... а в противном случае я не позволю... Я...

¹⁸ Отпазончить – то есть отрезать задние лапки. Их отдают тут же пойманной зайца собаке.

¹⁹ Вторачивать – привязать к седлу.

– Ну, что ты мелешь, не выдав дела? – перебил его Трутнев. – Ты выслушай наперед.

Все наперерыв принялись объяснять Петру Ивановичу обстоятельства дела; он слушал внимательно и с увлечением повторял:

– Он... с рубежа... опять... с Азарным! Фу, черт, знатно!.. Лихо! Лихо! А что, я говорил вам, господа прибавил он, обратясь к Бакенбардам и Трутневу, – Карай будет дивная собака! Я это вижу по ладам. Ну, Лука Лукич, поздравляю!

Подъехали два человека Петра Ивановича и привезли отысканную в болоте шапку; стремянный отпазончил и второчил русака.

Все мы обратились к Бацову и дружно поздравляли его с полным успехом; Стерлядкин тоже усердно вторил нам; Бацов, глядя на нас молча, был как-то сановит, тих и серьезен; он еще не успокоился и был словно в угаре после таких сильных и дорогих охотнику впечатлений, испытанных в столь короткий срок. Карай сидел подле него и зализывал больную ногу. Еремю все оделили щедро.

– Господа, пора нам тронуться; времени остается немного, – сказал Атукаев, глядя на часы.

– Нет, о, нет! Ваше сиятельство, как можно? Надо замочить лапки; а то что ж это будет?.. Что мы за охотники после этого? А ночевать ко мне, господа, – прибавил Петр Иванович, – я уж так распорядился. Граф, Ваше сиятельство, ночевать ко мне... – И Петр Иванович, принимая от своего стремянного флягу, пропел со всеми онерами известную охотничью песню: «Выпьем, други, на крови...»

Но выпил только Петр Иванович, прочие отказались.

Верстах в пяти от места нашли мы охоту; когда мы очутились близко от экипажей, стоявших на лугу, в стороне от дороги, из одной брыки выскочил Хлюстик и пустился вприсядку; он был уже «в своем виде», то есть пьян.

– А, Петрунчик! Так-то держишь слово? – произнес грозно Атукаев. – Ты хотел спать, а теперь «в положении». Кто это его употчевал?

– Н-не изв-вестно-с, – отвечал повар, стараясь держаться как можно прямее.

– А, понимаю, – продолжал граф, глядя во все глаза на своего приспешника.

– Не изв-вольте сумлеваться... васьсво... мы не токма, что ни-чево-с... обидно, васьсво!.. Во как горько, обидно!.. – Повар застучал кулаком по груди и прегорко заплакал.

– Прибрать их в фургон! – сказал граф людям.

Петрунчика и обиженного подхватили на руки и, как мешки с мякиной, попихали в собачью фуру.

Стерлядкин простился с нами и, взяв обещание со всех завтра у него обедать, пересел в дрожки и отправился домой.

Мы кинули гончих в соседний остров и до сумерек затравили русаков двадцать на котел, то есть для собак. В то время, когда я подъезжал к острову вместе с Бацовым, граф обусловил нас не соглашаться на предложение Петра Ивановича ехать к нему на ночлег.

– Мы ночуем в Глебкове, как дома, а тут эти господа налижуются непременно и не дадут спать до утра, или, что всего хуже, затравят нас клопами; я уж это испытал, – прибавил граф.

И точно, во время гоньбы Петр Иванович подъезжал к Атукаеву и к нам. Тот ссылался на нас, а мы отказались наотрез. Петр Иванович, успевший уже порядочно подбодрить себя, в самый разгар гоньбы ускакал с людьми и собаками домой. Быстрые осенние сумерки застали нас в ту пору, когда мы вызвали гончих из острова. Сдавши собак, мы с одним стремянным пустились на рысях до нашего ночлега. Дело в том, что нам никак нельзя было миновать усадьбу Петра Ивановича, которая была всего-то в двух верстах от Глебкова. Мы условились пронестись мимо дома на марш-марше и тем избавиться от объяснений в случае, если бы даже сам Петр Иванович, стоя у ворот, вздумал приглашать нас вторично. Но, увы, плану нашему суждено было остаться там, откуда он возник, то есть в воображении: не доезжая усадьбы за

полверсты, нам предстояло проехать плотину и пересекавший ее мост; все это состояло в единственном, бесспорном владении помянутого уже не раз Петра Ивановича. Тут-то представилось зрелище, которое я увидел в первый раз в жизни: на плотине стояла толпа мужиков с кирками, кольями и топорами, а подвинувшись ближе, мы увидели самого Петра Ивановича. Растянувшись персонально поперек дороги, он заградил нам путь; на мосту торчали одни перекладыны; накатник был снят и лежал в куче.

– Нет дальше ходу! – крикнул нам Петр Иванович и застучал каблуками по земле. – Или застрелюсь тут на месте, или вы ночуете у меня...

Мы молча переглянулись.

– Полноте, Петр Иванович! К чему вы это затеваете? Я ведь вам сказал уже, что я не один. Со мной господа, прислуга, охота, целый обоз; мы вам наделаем столько хлопот...

– Ломай дальше! – крикнул Петр Иванович мужикам. – Ночуйте у меня или в поле... Бр-р-р! У меня все готово... Армии давай сюда! Угостим армию!.. Бр-р-р!

– Чего же вы хотите?.. Чтоб мы ночевали на мельнице?

– И я с вами!

– Мы вернемся назад...

– И я с вами!

– Мы, наконец, уедем домой.

– И я с вами... бр-р-р!

И на все это Петр Иванович, по его понятиям, решился единственно потому, что он благородный человек и товарищ истинный, а не жомини, не шелкопер! Что он готов для нас перехватить себе горло ножом.

– А вы вот этого не сделаете! – прибавил он наивно.

Пока мы торговались с этим навязчивым кунаком, подвалил обоз и стая к плотине. Увидев Трутнева, Петр Иванович вскочил как встрепанный.

– Володя! Друг! Помогите... Режут, жгут... обида! Понимаешь – обида!..

– Горько, обидно! Васьсьво! – вторил ему плачевный голос из фургона.

– Что ж, ваше сиятельство, удостойте; мы, этак, тово, вечером вместе... – прибавил Трутнев.

С последним словом Трутнева Петр Иванович очутился на коленях перед лошадьё Атукаева.

Между тем стемнело совсем, нахмурилось, брызнул редкий дождик.

Что оставалось после этого? Подумали и согласились!

Обрадованный кунак наш кинулся как шальной к мосту, прикрикнул на мужиков и принялся сам настилать накатник. Переправя стаю и обоз вперед, мы наконец всем обществом тронулись в путь и начали подниматься на пологую гору; налево от нас потянулась каменная стена, направо начали попадать в глаза неопределенного вида строения. Миновавши их, мы повернули в высокие каменные ворота; направо стоял громадный с заколоченными наглухо ставнями старинный дом; за ним в углу, светились два окна флигеля, где помещался Петр Иванович с семьей. Услыша топот, к нам вышел подслепый лакей со свечкой и, мигая веками, старался осветить две ступеньки крылечка под соломенной крышккой.

При входе в первую комнату из скверной, вонючей и сорной передней мы тотчас были пожалованы в звание друзей Петра Ивановича и, расцеловавшись с ним, как подобало, вступили в следующую комнату, игравшую роль гостиной, потому что в ней обретался ситцевый диван, несколько кресел и стояло в углу старинное, необыкновенной формы фортепьяно, с овалом на спине и круглыми боками, походившее на супоросую свинью.

– Вот тут, господа, пожалуйста!.. Граф, прошу садиться, а я вот вам тотчас жену, тово... чаю... Эй! Каролина, выходи! Чаю господам... Ком гир! – крикнул он, громко стуча кулаком в дверь. – Да вы не хотите ли, тово... перед чаем пройтись по водке, лучше?.. А, вот она!

Рекомендую, граф!.. Да вы уже знакомы... Вот, господа, рекомендую, моя жена, только вы с нею не очень-то... просто, этак, тово, она глуха – черт, не знаю, чем лечить... русские лекарства не действуют... Вы, пожалуйста, не церемоньтесь с ней... Каролина, чаю господам!.. Тей! Тей! – крикнул Петр Иванович, выделявая рукой, как наливают чай, и убежал.

Пока это говорилось и показывалось, между нами, медленно отворяя дверь, еще медленнее появилась молодая дама с завязанной щекой, в опрятном сереньком капоте из полутерно; в то время как муж выкрикивал у нее над ухом: «Тей!» – она успела выделывать два книксена и по исчезновении Петра Ивановича молча села в ближайшие кресла: в черных прекрасных глазах ее светилась какая-то робость, сиротливость; на бледном кротком, чисто немецкого типа лице была заметна грусть, а глядя на тощую грудь и руки этой женщины, нельзя было сомневаться, что у нее до крайности потрясены и расслаблены нервы.

Кое-как откланявшись, мы тоже начали усаживаться где попало; граф поместился ближе и как знакомый первый вступил в разговор.

– Как ваше здоровье? – спросил он довольно громко.

– Ваше зиятельство на акот? – отвечала Каролина Федоровна.

В таком роде длился у нее разговор с Атукаевм около четверти часа; наконец я подошел как можно ближе и сказал довольно громко по-немецки:

– Вы, верно, скучаете, живя постоянно в деревне?

– Мои родные в Карлсруэ, – отвечала она и грустно улыбнулась.

– Вы любите чтение? – спросил я еще громче.

– У моего мужа умерли все собаки, – было ответом. Я снова сел на место.

Вошел Трутнев и, не обращая внимания на Каролину Федоровну, пустился в рассказни.

– Что, вам, я полагаю, скучно, ваше сиятельство? Тут тово...

– Нет. Только жаль, что вот наша дама затрудняется в ответах. Прежде она слышала хорошо.

– Представьте, это Петр Иванович ее оглушил... Когда он бывает под гульком, так, знаете, этак, ему вздумается тово, по праву супружества... Один раз как-то в сердцах по голове... тово... ну, и оглохла. Из синяков не выходит, – прибавил он, улыбаясь.

Каролина Федоровна следила за выражением лица Трутнева и, полагая, что он рассказывает нам очень смешную историю, весело улыбалась.

Я вскочил, сам не зная, по какой причине, с места и вышел в другую комнату.

Петр Иванович, преобразившись из яргака в архалух бегал по комнатам, выскакивал на крыльцо, кричал, бранился и торопил прислугу, отдавая каждому по пяти самых разноречивых приказаний. Между прочим, я слышал часто произносимые им имена: Ганьки и Мотрюшки.

– Ну, что, сказал? – спросил он, поймав за ворот бежавшего через зал рыжего, с веснушками, в сером казакине мальчика.

– Сказал.

– И Ганьке сказал?

– Сказал.

– И Мотрюшке?

– Сказал.

– Да ты, дурак, ты бы Ганьке сказал, чтоб она тово... а Мотрюшке, чтоб она это... понимаешь? Сарафан, дурак, беги, скажи, опять, мол, в сарафанах, и ткача сюда... А ты куда? – накинулся он на подслепого лакея.

– Я-с! Вы приказали...

– Дурак! Я сказал, чтоб стол, тово, карты и все такое в кабинет.

– Да я бегу по вашему приказу, чтоб клюшника послать, овса добыть, овса нетути...

– Дурак, тебе говорят – карты! Понимаешь? В кабинет, ты стол там, чтоб и все этакое...

И Петр Иванович влетел в гостиную.

– Что ж, чаю о сю пору? Чаю! Что ты тут расселась? Гриб немецкий! Тей! Тей! – крикнул он, дергая жену за плечо.

Бледная, растерянная, она робко взглянула ему в лицо и по направлению руки Петра Ивановича вышла в дверь.

– Друзья мои! Граф! Ваше сиятельство! Не поскучайте, пожалуйста, извините, я сейчас... Только вот насчет певчих...

И Петр Иванович снова исчез.

Несмотря на это громкое: «Тей!» – чая нам вовсе не дали, и Петр Иванович больше не вспоминал об этом; Каролина Федоровна тоже словно в воду канула и больше к нам не появлялась.

Оставшись втроем, мы принялись рассуждать о скачке Карая; так прошло около получаса; в это время я увидел, как Петр Иванович, подкравшись на цыпочках к нашей двери, тихо притворил обе половинки; вслед за тем мы услышали топот и установку в зале, кое-кто покашливал и пересмеивался; наконец дверь распахнулась снова, и Петр Иванович появился к нам с довольным лицом.

– Не угодно ли, господа? – сказал он как-то торжественно и, обратясь к двери, хлопнул в ладоши.

С этим сигналом в соседней комнате разразился неистовый крик. Я не помню, как я очутился там: толпа деревенских баб, под управлением ткача, горланила какую-то вступительную песню, звуки которой как-то лопались в ушах. Наконец, при появлении графа и Бацова из гостиной, а Трутнева с Бакенбардами из кабинета, две бабы, разряженные в китайчатые с мишурной оторочкой сарафаны и сам ткач с его необыкновенным инструментом отделились от сонмища и начали какую-то мордовскую пляску под припев хора:

*Ахвицер, ахвицер, ахвицерик молодой,
Ахвицерик молодой,
Под ним коник вороной:
Конь копытом землю бьет, а девица слезы льет!*

Ганька и Мотрюха отжигали непостижимые коленца, а ткач трещал под песню хора на своем неслыханном инструменте. Инструмент этот был не что иное, как тупейный гребешок с приделанной к нему как-то бумажкой.

«Ну, Каролина Федоровна знала, для чего оглохла», – думал я, слушая этот гвалт.

Не так он действовал на Петра Ивановича: упоение его было, как видно, безгранично; он и шевелил плечами, и выступал козырем, и засучивал рукава, и притоптывал, и прищелкивал, и, наконец, что всего хуже, кажется, окончательно забыл о нас грешных. Трутнев тоже начал понемногу увлекаться этим зыком; г. Бакенбарды держал себя гордо и степенно, хотя и можно было поручиться, что, не будь тут это *monsieur le comte*, он непременно закружился бы в общем водовороте.

Мы вернулись в гостиную и начали со смехом и досадой пополам высказывать каждый свое мнение о незаконном нашем аресте. Бацов в особенности выражался насчет этого очень едко и убедительно, но все его красноречие заканчивалось общим и дружным между нами смехом, и едва мы сумели бы придумать что-нибудь для своего избавления, если б не следующий случай.

Неизвестно откуда появился перед нами камердинер Атукаева с весьма недовольным видом и произнес на первый раз очень простую, но до крайности вразумительную фразу:

– Ваше сиятельство! Как вам будет угодно, а ночевать тут не приходится.

– А что?

– Помилосердуйте... Лошади у нас не отпряжены и стоят без корма. Собаки о сю пору на дворе, под дождем: приюту никакого... В конюшне, в сараях – везде течь. Все стоит непокрытое: повар, вишь, крыши изводит на плиту. Людям есть нечего и разместиться негде; у экипажей я поставил караул: того и гляди, очистят!..

– Вот те раз! Хотел угощать армию! – проговорил граф в раздумье. – Неужели нет корму ни людям, ни лошадям?

– Точно так-с! У них и свои лошади третьи сутки овса не нюхали, а тут где же взять на такое количество? Сами извольте знать: у нас не десять лошадей! Да вот для вас тоже кушать о сю пору не готовят. Дворовые бегали на село кур и яйца собирать, мужики их приняли в колья; там драка, безобразие, пьянство, крик. А дворня-то – все вор на воре, у своих тащат из-под замка... Помилуй Бог, беды не оберешься!..

Прослушав это донесение, мы переглянулись враз и громко от души захохотали.

Отнеся этот смех насчет сочувствия нашего общему веселью, Петр Иванович влетел в гостиную козырем, выделал коленце и заключил меня первого в объятия, но Мотрюха вырвала остальных от этой мялки. Появившись с припляской перед Петром Ивановичем и маня его к себе руками, она припевала в такт: «О-ох, кости болят. Все суставы говорят», – и так далее. «Гений, а не женщина!» – крикнул тот и умчался за своей дамой, припевая: «Ходи раз, ходи два!» – и так далее.

– И прекрасно! – начал Атукаев, обдумав тем временем свой план. – Вели людям собраться как можно тише и тронуться враз со двора; лошадей наших держать наготове, а Петрунчика дать сюда; пусть его веселится сколько душе угодно; мы его, господа, употребим вместо громоотвода и отдадим на жертву, а сами улизем отсюда... Ступай же и обделай все как можно аккуратнее!

– Слушаю!

И обрадованный Артамон Никитич, заговаривая и заигрывая с бабами, ловко добрался до передней.

Его место в гостиной заменил г. Бакенбарды.

– А мусье ле конт! – начал он. – Же ву ле фелисит авек дю бьен э-тре гран плезир!

Злодей! Так и видно было по лицу, как долго он мучился над постройкой этой необыкновенной фразы.

– Что ж, нам тут очень весело, – сказал граф по-русски, глядя на меня так убийственно, что я чуть не лопнул подобно ракете от усилия не разразиться смехом.

– Но мне, признаться, это всегдашнее тужур пердри надоело, – проговорил Бакенбарды и, а la Чайльд-Гарольд, поместился возле меня в креслах.

– К тому же вам для занятия досталась такая дама, которая ничего не слышит, хоть стреляй! – начал он, относясь ко мне.

– Да, жаль... – промолвил я, кусая свою губу. – Давно она потеряла слух?

– Вот, с великого поста... Это муженек ее оглушил. Вздумал стучать об эту печку, и если б я не случился тут... да что и говорить, когда-нибудь он-таки ее доконает... месяца три голова у нее была настоящая подушка... Да вот и старшая дочь... – вы не видали ее? – сделалась уродом, должно быть, по его милости: теперь у нее растет горбок...

И, заметя наше расположение слушать, г. Бакенбарды пошел дальше. Из его длинного повествования, за исключением французских фраз, мы уразумели следующее.

Оставшись после родителей по десятому году, Петр Иванович, вместе с меньшей сестрой своей, попал на воспитание к бабушке, женщине известной в околотке по богатству и гордому характеру. В семнадцать лет Петр Иванович возымел решительное намерение прицепить к боку саблю. Через десять лет службы в гусарском полку он явился на родину, с отставкой в кармане и с полным запасом антигусарского удалства. Поселясь в отцовском большом и прекрасно устроенном имении, которого, прибавим в скобках, теперь не осталось и половины,

Петр Иванович часто навещал бабушку и не замедлил там влюбиться в компаньонку своей сестры, то есть в Каролину Федоровну. Осведомясь об этом, бабушка вскипятилась и чуть не отодрала розгами поручика Петрушу, но Петруша был гусар и страстный поклонник сатисфакций: зная наверное, что бабушка его никак не согласится стать на барьер, или так называемую благородную дистанцию, он придумал задать ей сатисфакцию другого рода: забрался к ней в сад и, лежа под кустом, выждал время, когда хорошенькая немочка, по обычаю, вышла помечтать. Увидевши предмет своей любви и сатисфакции, Петр Иванович накинулся на нее как Бедуин, заткнул ей глотку носовым платком, схватил ее под мышку и умчал а la Малек – Адель в свои владения. Очутившись в той самой гостиной, в которой теперь шла у нас речь, Каролина Федоровна увидела перед собой Петра Ивановича, во-первых на коленях и с гусарской клятвой на устах, во-вторых, Петр Иванович взял предмет своей сатисфакции под ручку и ввел его в соседнюю комнату; там сказал он ей: «Ву зет мейне либе фрау» – и кончил сатисфакцию с бабушкой.

Через два дня после этого соблазнительного происшествия приехал предводитель с дворянами и, отобрав от бедной немки и дворовых людей показания, посоветовал Петру Ивановичу прекратить это дело и побережь себя, а то, дескать, тут явится и бабушка, и уголовная палата, и прочее, и прочее.

Вообразив, что все это делается по проискам бабушки, и желая «насолить» ей окончательно, Петр Иванович послал за приходским священником и в присутствии трех благородных свидетелей прекратил уголовное дело в самом его зародыше, а что всего лучше – «утер нос и палате и бабушке!»

Через год после этого, когда у Петра Ивановича родилась старшая его дочь, заботливый папаша, вообразив почему-то, что трусливее немцев нет людей на свете, вздумал выветривать заранее из девочки немецкий дух: схватя ребенка с рук матери, он отнес его и положил в ясли к самому злому жеребцу и начал его подхлестывать. Лошадь трясла головой, щулила уши и вздымалась на дыбы, а Каролина Федоровна, растянувшись на полу, обнимала колени Петра Ивановича и кричала неистово. Вот уже пошел девятый год, как Петр Иванович варьирует этот способ на разные лады для того, чтобы выветрить из жены и двух дочерей своих немецкий дух.

– А впрочем, – заключил г. Бакенбарды, – надо сказать, что, за исключением этих маленьких шалостей, он поистине благороднейший человек и удивительный товарищ! Сетюньом де комильфо! Мы с ним вместе служили... В полку у нас было общество необыкновенное, не то, что в пехоте; все мы говорили не иначе как по-французски; боже сохрани, по-русски! Или высморкать нос перед фрунтом: тотчас вызовут на дуэль!

С появлением Хлюстикова Петр Иванович пришел в совершенную ражу, кинулся целовать Атукаева и доказывать, что он способен быть благороднейшим человеком и удивительным товарищем, и вслед за тем, как бы в награду нам, выслал баб и велел накрыть стол. Трудно передать, какая суэта и давка пошла в зале, где, чтоб сбережь время для танцев, Петр Иванович шнырил безвыходно, торопил прислугу и наделял всех затрещинами. Между тем граф подозвал Петрунчика и приказал ему пить больше за ужином и развлекать внимание Петра Ивановича.

В одиннадцать часов мы сели за стол. Что это была за сервировка! У меня в приборе не доставало ножа; г. Бакенбарды поместился за пустой тарелкой; Бацов стащил у Трутнева с прибора салфетку. Наконец появилось огромное, но единственное блюдо нарезанной кусками курятины, облитой каким-то желтоватым раствором. Курятина оказалась совершенно сырою. По счастью, под столом очутилась борзая собака и пожирала кусок за куском. Петрунчик вел себя удивительно: перепивая и забавляя хозяина, он завладел им до того, что Петр Иванович обратил на нас внимание только в то время, когда, убедившись, что брошенные нами под стол куски уничтожены, мы разом поднялись с мест.

В гостиной между тем появились три постели, приготовленные для нас во время ужина, а в зал, по снятии стола, собралось баб вдвое больше прежнего, и мы убедились, что протесниться к выходу нам не было возможности. В довершение удара Бацов, осматривая постель вздумал поднести свечу поближе к дивану; он ахнул и позвал нас. Было от чего ахнуть: по всей обивке дивана и на проточенных обоях сидели в три шеренги клопы.

– Нет, это из рук вон! – крикнул энергически Лука Лукич и выбежал вон.

Мы боялись, что он по горячности испортит дело наше вконец. И точно, было близко к тому, когда Бацов вернулся к нам, таща Бакенбарды за руку.

– Посмотрите, что это? – заговорил он, проводя свечкой вдоль дивана. – Это свинство, это подлость, наконец! Затащить гостей насильно, не дать чашки чаю, кормить черт знает чем, и после травить!.. Это насмех, что ли, он делает? – прибавил Лука Лукич, ставя свечку и сверкая глазами.

– Полно, Лука Лукич! – приступили мы к Бацову.

– Нет, этот мерзавец стоит пятисот нагаек! – крикнул Бацов, свирепея.

– Что ж тут, господа, – лепетал Бакенбарды, – дом не мой, я был бы рад... если б... да не знаю, как помочь...

– Оставь, Лука Лукич! – перебил Атукаев и обратился к Бакенбардам: – Послушайте, – сказал он, – вы видите ясно, что в этой берлоге остаться мы не можем. Помогите нам, пожалуйста, выбраться отсюда так, чтоб он не заметил этого...

– Очень рад, очень рад! Лошади у вас готовы? Где они? Я прикажу подавать.

– Как же вы это сделаете?

– Очень просто: их подведут к балкону, я притворю двери в зал, вы выйдете в эту дверь и...

– Представьте! – крикнули мы все трое, глядя вопросительно друг на друга. Перед нами была дверь на балкон, и мы только теперь ее заметили.

Пока г. Бакенбарды хлопотал о лошадях, мы успели подать знак Хлюстикovu; тот вместо танцев придумал водить хоровод, окружил Петра Ивановича бабами и запел:

Дунай, мой, Дунай, веселый Дунай!

Явился Бакенбарды и, получив от нас при рукопожатии тройной титул: избавителя, благодетеля и еще чего-то, раскланялся с достоинством, повторил раз пять: «Бон нюи» – и захлопнул дверь в залу.

Съехавши потихоньку со двора, мы живо домчались до места и очутились в чистой и просторной крестьянской избе. Нужно ли повторять, какими глазами смотрел я, изнуренный двухдневной бессонницей, на три приготовленные для нас по углам постели? Но это увлечение было мелко в сравнении с тем громким возгласом, каким приветствовали мы Артамона Никитича, представшего нам с клокочущим самоваром в руках: «Тей! Тей!» – крикнули мы, словно по команде, и смеялись как дети, припоминая вразбивку впечатления проведенного нами вечера.

За вторым стаканом чая я как-то прилег носом к подушке и... «Тей! Тей!» – крикнули два громкие голоса у меня над ухом. Я открыл глаза, но это было в десять часов утра. Граф и Бацов хохотали, стоя у моей постели; на столе по-прежнему кипел самовар, а у порога стоял мой Игнатка.

Часть третья

• *Мы у Стерлядкина.* • *Что такое Трутнев?* • *Тревожная весть.* • *Братовка.*
• *Алексей Николаевич.* • *Племя волкодавов.* • *Разногласица.* • *Феопен.* • *Выдержка гонимых.* • *Отъезд в Чурюково.* •

Через час явился Хлюстиков с распухшим лицом и глазами как у кролика; он прибыл пешком, расставшись с своей компанией на рассвете дня, в то время когда Петр Иванович свалился на одну из приготовленных для нас постелей.

– Что ж ты так долго путешествовал, моя радость? – спросил граф.

– Гм, гм, мы на пути, этак, вздремнули. «Вот на пути село большое», – затынул было Хлюстиков, но голос изменил ему. – Граф, ваше сиятельство, голубчик, прикажи Петрунчику рюмочку... душу отвести! Смерть, так вот и горит!..

Нечего делать: видя страдание Петрунчика и твердое его обещание исправиться, поднесли ему рюмочку и сдали его Артамону Никитичу на руки для приведения в надлежащий человеческий вид. Тот свел его и уложил в одну из брик. Между тем люди позавтракали, рассадили борзых и стаю, впрягли лошадей и тронулись в предстоящий нам далекий путь.

В полдень, при ясном солнечном небе и этой нетомящей теплоте осеннего дня, мы сели в открытую коляску и поехали на полных рысях. Прижавшись боком к мягкому кузову, я молча курил сигару и лениво глядел на бегущие мимо нас грядки однообразных полей; солнце светило по-летнему; по темной зелени перелесков играл подсохший лист, поблескивая золотистыми искорками, словно редкая седина в голове еще не устаревшего человека, цепляясь концами за жниво, кругом нас плавала длинная паутина: ее было столько, что издали, на припоре света, поле было как будто накрыто хрустальным ковром; даль терялась кругом в глубоком тумане; кой-где гуляло стадо по изложинам: курился дымок, две-три бабы вертелись с граблями по жниву, да стрепета свистели крыльями, перелетывая стаями с пашни на пашню.

– Вот и бабье лето подошло, – проговорил наконец Лука Лукич, поймав летучее волокно паутины.

– Да, как бы не пошло на сушь; тогда плохо! – прибавил Атукаев в раздумье.

(Не по душе это бабье лето псовому охотнику; ему – изгарь, прохолодь, частые перемочки, серые деньки...)

Спутники мои снова молчали, глядя по-моему в даль; граф, как казалось мне, был озабочен какою-то неотвязной мыслью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.